



Г. В. АДАМОВИЧ

Бунин. Воспоминания

Впервые увидел я его в петербургском «Привале комедиантов», на Марсовом Поле. Если не ошибаюсь, он только один раз там и был. Бунин стоял у стены, против входной двери, рассеянно и хмуро глядя по сторонам, всем своим видом показывая, что ничто ему тут не по душе. Да и могло ли быть иначе? «Привал комедиантов» был последним прибежищем русского модернизма, возникшего в конце прошлого столетия, — модернизма, Бунину чуждого и даже враждебного. Ярко размалеванные стены с какими-то птицами и мифологическими чудовищами, в полутьме казавшимися еще причудливее, высокие, будто церковные, подсвечники, черные длинные скамьи вместо стульев или кресел — нет, Бунину нравится это не могло, и, несомненно, он чувствовал родство этой обстановки с тем, что было ему ненавистно в литературе. Он демонстративно молчал. Усмешка изредка кривила его губы. На маленькой, низкой сцене, в глубине зала, шла пантомима по шницлеровскому «Шарфу Коломбины». Потом появились хористы, принялись петь незатейливые новейшие частушки:

Ты, Кшесинская, пляши,
Вензеля ногой пиши...

Это были первые революционные месяцы, весна 1917 года: уступка политике. Частушки, по-видимому, окончательно испортили Бунину настроение. Он поспешно вышел. Никто его не провожал.

Помню, у меня и в мыслях не было подойти к нему, представиться, познакомиться. Будь вместо него кто-нибудь из столпов символизма или даже другого литературного течения, тех, которые казались нам, тогдашней зеленой молодежи, законными и ценными, чувства возникли бы другие. Будь это, например, Ан-

дрей Белый, которого мне так и не привелось лично узнать, о чем я до сих пор жалею, вероятно, я побежал бы за ним, с волнением задал бы ему какие-нибудь наспех придуманные вопросы. Или даже будь это Пастернак, первые стихи которого, помещенные в московском альманахе «Весеннее контрагентство муз», нас, петербургских акмеистов и полуакмеистов, ошеломили и очаровали. Но Бунин? Прозой мы вообще интересовались мало, придавали ей мало значения — настолько мало, что помню чье-то замечание в Цехе поэтов, чуть ли не самого «синдика», Гумилева: «Как ни велик Достоевский, всего его можно уместить в одно стихотворение Тютчева», — замечание это не вызвало ни возражений, ни смеха, хотя был это явный вздор. Стихов Бунина мы недолюбливали: их в нашем кругу, среди друзей и учеников Гумилева, не «полагалось» любить. Я читал «Деревню» и «Суходол», прочел и перечел «Господина из Сан-Франциско». Да, хорошо, говорил я себе, но не в той плоскости хорошо, как бы не в той тональности хорошо, чтобы именно побежать за ушедшим автором, сказать ему несколько слов, похожих на объяснение в любви.

Теперь, вспоминая это, я, конечно, отдаю себе отчет, как условны были эти литературные перегородки, как много было за ними ребячества, самодовольства, игры, слепоты. Но в ранней молодости без игры и заблуждений обойтись трудно, чему и в наше время примеров без счета. Так было, так будет.

Прошло лет десять — из разряда тех лет, в которых каждый прожитый день должен быть зачтен за месяц, если не больше. Я был у Мережковских, на их даче, недалеко от Ниццы, где обычно проводил лето. За чайным столом Зинаида Николаевна Гиппиус что-то рассказывала об Акиме Волынском, незадолго перед тем скончавшемся, упорно называя его не Волынским, а Флексером, как в действительности и была его фамилия. Неожиданно в саду, за деревьями, раздался громкий, веселый, бодрый голос:

— Что, дома вы? Или, может быть, нарочно от меня попрятались?

И на террасу поднялся человек, всем обликом и повадкой своей производивший такое же впечатление бодрости и веселия, как и его голос. Я не сразу сообразил, кто это, и только когда Гиппиус сказала Мережковскому: «Ну, вот видишь, а ты все вздыхал, что Иван Алексеевич нас совсем забыл!» — только тогда узнал Бунина.

С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Седина шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике

что-то величавое, римски-сенаторское, усиливавшееся с течением дальнейших лет. Бунин был очень оживлен, сказал, что заставил себя вырваться только на часок-другой, «а то пишу, пишу, не отрываясь». Однако от расспросов Зинаиды Николаевны уклонился. «Да ведь вам и не интересно, вы ведь считаете, что я не писатель, а описатель... Я, дорогая, вам этого до самой смерти не забуду!»

Могу засвидетельствовать, что словечка этого — «описатель», — вкравшегося в одну из критических статей Гиппиус, он действительно не забыл. К концу жизни Мережковских отношения их с Буниным испортились, но в то время еще были дружескими, хотя и тогда скорей поверхностно-дружескими, с чем-то ироническим, недоверчивым с обеих сторон. Упоминание о мнимом «описательстве» я слышал впоследствии от Бунина не раз. Неизменно оно сопровождалось сердитыми возражениями насчет того, что он вовсе не «описывает» природу или быт, а воссоздает их. «Она выдумщица, она ведь хочет того, чего нет на свете», — говорил Бунин, при этом полузакрывая глаза и не без манерности отводя руку, будто что-то отстраняя, в подражание гиппиусовской манере чтения. Однако остроту ее ума он признавал, как признавал и суховатую прелесть ее поэзии, ее «электрических», как он выражался, стихов.

После этой встречи у Мережковских я стал видаться с Буниным довольно часто. Но по-настоящему узнал его, сблизился с ним много позже, во время войны, и остался близок до самой его смерти. Сначала что-то не ладилось. Меня смущал и стеснял его иронический тон в беседах, правда добродушный, Бунин подтрунивал «над всеми вами, декадентами» и вдруг пристально смотрел в глаза, когда говорил что-нибудь, по его мнению, существенное, важное, будто проверяя: понял, одобрил или ничего не понял и потому заранее отвергает? Спорить он не любил, споры быстро прекращал, что, впрочем, мне в нем нравилось. Однажды, в одну из первых встреч, после короткого разговора о «Мадам Бовари» — Бунин был великим поклонником Флобера — я заметил, что, конечно, роман этот очень хорош, но ставить его в один ряд с «Анной Карениной» невозможно. Иван Алексеевич удивленно прищурился: «А, значит, вы признаете Толстого? А я-то, признаться, полагал, что он для вас устарел». «Уста...рел», — повторил он с растяжкой, будто жалея беденького Толстого, от которого отвернулись просвещенные молодые люди, ушедшие далеко вперед. Впоследствии мы мало-помалу договорились, что Толстой как бы вне времени, и вообще договорились до многого, многого,

ошибочно и главным образом по моей вине отдалявшего меня от Бунина в первые годы знакомства.

Он был на редкость умен. Но ум его с гораздо большей очевидностью обнаруживался в суждениях о людях и о том, что насколько расплывчато можно назвать жизнью, чем в области отвлеченных логических построений. Людей он видел насквозь, безошибочно догадывался о том, что они предпочли бы скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю, что вообще чутье к притворству — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды — было одной из основных его черт. Вероятно, именно это побудило Бунина остаться в стороне от русского доморощенного модернизма, в котором по части декламации и позы далеко не все было благополучно. Был ли он, однако, полностью прав в своей брезгливой непримиримости, не проглядел ли чего-то такого, во что взглянуться стоило, не обеднил ли себя, отказавшись прислушаться к отдельным голосам, по природе чистым, звучавшим в шумном, нестройном хоре русской литературы начала нашего века — преимущественно в поэзии? Не оказался ли высокомерно рассеян к содержанию, к духовной особенности эпохи, отраженной в безотчетном смятении, в предчувствиях, в тревоге и надежде, которыми поэзия эта была проникнута, — отчетливее и глубже всего, конечно, у Блока? Вопрос это спорный, и лично у меня на счет бунинской дореволюционной литературной позиции до сих пор остаются сомнения. Он часто на эти темы говорил, с удовлетворением, даже с удовольствием к ним возвращался, вспоминая далекие годы, когда Леониду Андрееву или двум-трем другим тогдашним кумирам отдавались в журналах первые места, платились огромные гонорары, а он, Бунин, пребывал в тени: приятной, почетной, прохладной, но все-таки в тени. Он радовался своему долгожданному реваншу, доказывал свою дальновидность и правоту, гордился тем, что Чехов — «Да, да, один только Чехов!» — предсказал ему очень большое литературное будущее и реванш предчувствовал. У меня никогда не хватило смелости спросить его, помнит ли он то, что о его писаниях сказал Толстой, и никогда, ни в одном разговоре он толстовского отзыва о себе не коснулся. Конечно, он знал его и, вероятно, с горечью помнил, что Толстой признал прочитанный им рассказ Бунина пустоватым, хотя и написанным так, как «ни мне, ни даже Тургеневу не написать». Должен, однако, подчеркнуть, что на его глубочайшем преклонении перед Толстым этот двоящийся приговор ни в какой мере не отразился и что за все мои встречи с Буниным я не слышал от него ни одного сколько-нибудь скептического, мало-мальски неприязненного слова о

Толстом. Может быть, он отчасти был согласен с Алдановым, считавшим, что замечание насчет «меня и даже Тургенева» должно быть всяким писателем воспринято как нечто чрезвычайно лестное. Да надо принять во внимание ведь и то, что Толстой ничего, кроме юношеских произведений Бунина, не знал и ни «Деревни», ни «Суходола», положивших начало его художественной зрелости, прочесть не успел.

О Толстом он говорил постоянно. Вспоминал, как в начале девяностых годов пришел к нему в Хамовники, пытался даже по своей привычке изобразить Толстого. «Быстрый, страшный, со своими страшными, серыми, глубоко запавшими глазами... я даже чуть...» — но тут следовало несколько слов, которые воспроизвести в печати невозможно. Любил рассказывать, как Толстой нахмурился, когда он простодушно, желая указать что-нибудь такое, что тому понравилось бы, упомянул о все большем распространении обществ трезвости.

— Общества трезвости? Это что такое? Собираются и болтают, что не надо пить водки, да? Если уж собираются, то надо пить водку.

Из-за Толстого произошло у меня и расхождение с Буниным, правда единственное. Я поместил в «Современных записках» довольно большую статью, где писал о влиянии Толстого на бунинское творчество. В конце статьи я заметил, что влияние это не идет далеко вглубь и что духовная сущность толстовских писаний, в особенности поздних, осталась Бунину чужда. В статье была фраза, формально, пожалуй, неудачная, но, как мне и теперь представляется, не совсем — нет, все-таки не совсем — ошибочная: смысл ее состоял в том, что в Бунине есть что-то от Льва Толстого и что-то другое, от эдакого бравого патриота-служаки, молодцеватого командира полка, «слуги царю, отца солдатам», никаких вольностей от веками установленного порядка не допускающего. Бунин жестоко обиделся. Если при встречах он и здоровался со мной, то даже руку подавал как-то небрежно, глядя в сторону, и только после присуждения ему Нобелевской премии, во всеобщем тогдашнем возбуждении и радости, добрые мои отношения с ним полностью восстановились и все улучшались, укреплялись до конца его жизни. Добавлю, что этот «командир полка» был в нем чертой скорей поверхностной, больше всего заметной в его нетерпеливых, раздраженных восклицаниях, как только задеты оказывались вопросы общественные.

Едва ли тому же следовало бы приписать его гневный отказ признать превосходство этики над эстетикой, что так существенно для Толстого, или даже их толстовскую нерасторжимость, да

с течением времени многое в бунинских внутренних противоречиях и сгладилось, может быть, под воздействием всего пережитого и, как говорится, «переосмысленного» во время войны. Однако какое-то безотчетное противостояние Толстому не исчезло у Бунина никогда, и если перечесть, например, «Несрочную весну», один из самых восхитительных, самых вдохновенных его рассказов, то нельзя не почувствовать, что по замыслу и устремлению что-нибудь более антитолстовское трудно себе и представить. «Красота спасет мир», — сказал Достоевский. Бунин Достоевского терпеть не мог, но с этим его утверждением, пожалуй, согласился бы, хотя и разошелся бы в истолковании понятия красоты.

Не уверен, что правильно было бы назвать его блестящим собеседником, златоустом, по-французски «козером», кем-то вроде Анатоля Франса, которого в парижских гостиных люди заслушивались, предвкушая заранее удовольствие от встречи, заранее зная, что предстоит демонстрация искрометного салонного красноречия с импровизированными афоризмами и парадоксами. Ораторских способностей у Бунина не было никаких, в противоположность Мережковскому, писателю творчески бедному, но оратору несравненному, когда-то вызвавшему у сидевшего в зале Блока желание, как записано в блоковском дневнике, поцеловать его руку. Бунин вовсе не был красноречив. Но когда он бывал «в ударе», был более или менее здоров, когда вокруг были друзья, его юмористические воспоминания, наблюдения, замечания, подражания, шутки, сравнения превращались в подлинный словесный фейерверк. Он был не менее талантлив в устных рассказах, чем в писаниях, — в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Слушая Бунина, я понял, почему больной, хмурый Чехов ходил за ним в Крыму чуть ли не по пятам. Перед Толстым Бунин благоговел и робел, перед Чеховым давал себе волю, и, вероятно, в молодости его разговорный и имитаторский дар был так же удивителен, каким остался до глубокой старости. В беседе с глазу на глаз он держался гораздо более сдержанно. Ему нужна была аудитория, хотя бы самая маленькая, в два-три человека, и тогда он расцветал, тогда бывал неутомим и, казалось, сам наслаждался портретами и карикатурами, которые рисовал.

Пример — рассказ о том, как после избрания его почетным академиком он впервые явился в Академию наук:

— Огромный холодный зал, тишина, все сидят неподвижно в ожидании президента Академии, великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. За окнами большие мокрые хло-

пья снега, тающего тут же на стеклах, деревья, гнущиеся под ветром с залива. Четверть часа, полчаса, президента все нет и нет... Возле меня сидел древний старичок в мундире с орденами, с каким-то белым пухом на голове вместо волос, сидел и дремал. Вдруг он очнулся, взглянул в окно, надел очки, недовольно покачал головой и тронул меня за руку: «А изволите ли помнить, ваше превосходительство... когда Крылова... баснописца... хоронили, точь-в-точь такая же погода была».

Все предыдущее, до самой последней фразы, я восстанавливаю по памяти и за точность каждого слова не ручаюсь. Но последнюю фразу помню совершенно точно, и надо было слышать, с каким столетним дребезжанием в голосе Бунин ее произнес, весь сгорбившись и сделав особое ударение на «баснописце».

Напомню, что Крылов скончался в 1844 году.

Да, Достоевского он терпеть не мог. «Тайновидец духа!» — возмущался Бунин, вспоминая, что Мережковский в нашумевшей книге, вышедшей в начале столетия, назвал «тайновидцем духа» Достоевского в противоположность «тайновидцу плоти» Толстому. «Тайновидец духа... да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Мережковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и никогда не было. Он даже не знает, что такое плоть. Тайновидец духа. Что за чепуха!»

Не раз он говорил, что Достоевский был «прескверным писателем», сердился, когда ему возражали, махал рукой, отворачивался, давая понять, что спорить не к чему. В своем деле я, мол, знаю толк лучше всех вас.

— Да, воскликнула она с мукой.

— Нет, возразил он с содроганием... Вот и весь ваш Достоевский!

— Иван Алексеевич, побойтесь Бога, этого у Достоевского нигде нет!

— Как нет? Я еще вчера читал его... Ну нет, так могло бы быть! Все выдуманно, и очень плохо выдуманно.

Помню, однако, что однажды он сказал, но именно с глазу на глаз, без «аудитории»:

— Всех этих его сумасшедших Кирилловых, Свидригайловых, Иванов Карамазовых, всяких там Лядащенко или Фердыщенко я органически не выношу. Пусть весь мир скажет мне, что это гениально, не выношу — и точка. И убежден, что я прав... Но кое-что у него удивительно. Этот нищий, промозглый, темный Петербург, дождь, слякоть, дырявые калоши, лестницы с кошками, этот голодный Раскольников, с горящими глазами и топором за пазухой поднимающийся к старухе-процентнице... это

удивительно. Пушкинский Петербург — блестящий, парадный, «люблю тебя, Петра творенье», а он первый показал что-то совсем другое, изнанку пушкинского...

— А разве не Гоголь?

— Да, Гоголь, верно... Акакий Акакиевич и все в этом роде... верно! Но Гоголь — лубочный писатель. Великий, замечательный, необыкновенный, а все-таки лубочный.

Это определение Гоголя как лубочного писателя я слышал от Бунина несколько раз и несколько раз просил его объяснить, в чем он лубочность видит. Но ничего не добился.

— Ну, лубок... разве вы не знаете, что такое лубок? Вот и у Гоголя лубок.

Не могу привести все его литературные суждения и отзывы. Кое-что у меня оказалось записано, но очень немногое. Да и из записанного далеко не все сохранилось. Впрочем, некоторые замечания врезались мне в память, особенно те, которые относятся к языку и стилю.

Однажды, отвечая Ивану Алексеевичу на вопрос, из-за чего поссорились два молодых парижских поэта, я сказал:

— Недоразумение у них произошло на почве...

Бунин поморщился и перебил, меня:

— На почве! Бог знает как все вы стали говорить по-русски. На почве! На почве растет трава. Почва бывает сухая или сырая. А у вас на почве происходят недоразумения.

Я возразил, что если нельзя употребить слово «почва» в переносном значении, то нельзя сказать, например, «мне улыбнулось счастье» или даже «он вспыхнул». Бунин спорить не стал.

— Да, да, конечно... Я ведь и сам иногда так говорю. Но неужели вы не чувствуете, что это «на почве» звучит по-газетному? А хуже нашего теперешнего газетного языка нет ничего на свете.

Другие бунинские замечания, по памяти или по сохранившимся записям.

— Читал я на днях Ренана, «Жизнь Иисуса». Не усмехайтесь, пожалуйста, я иногда тоже читаю серьезные книги. Ваша приятельница Зинаида притворяется, что читает, а я в самом деле читаю. Но Ренан невыносим. Он из Христа сделал какого-то симпатичного молодого неврастеника.

— Помните, Толстой сказал об этой книге: «Детская, подлая, пошлая шалость»?

— Как, как? Подлая, пошлая шалость? Ах, как хорошо, как верно! Да, умел сказать Лев Николаевич.

— Иногда я думаю, не сочинить ли какую-нибудь чепуху, чтобы ничего понять нельзя было, чтобы начало было в конце, а конец в начале. Знаете, как теперь пишут... Уверяю вас, что большинство наших критиков пришло бы в полнейший восторг, а в журнальных статьях было бы сочувственно указано, что «Бунин ищет новых путей». Уж что-что, а без «новых путей» не обошлось бы! За «новые пути» я вам ручаюсь.

— Вы, я слышал, сомневаетесь, не начать ли писать по-французски? Что же, дело ваше. Но послушайте старика, бросьте эти затеи, хотя я и понимаю, как они соблазнительны... Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок... Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?

— Какие болтуны, какие вруны все эти наши критики, я только руками развожу! Нет, не только теперь, а и прежде, еще тогда, когда царил Михайловский. Выдумали, что в каждой повести каждый человек должен, видите ли, говорить особым своим языком, упрекают, если этого нет... А скажите, разве в жизни каждый действительно говорит особым языком, замечали вы это? Да, правда, министр говорит так-то, а младший дворник иначе. Но чтобы решительно все люди говорили по-разному, каждый по-своему — это сущий вздор. Да и не так это легко, говорить по-своему, пусть критики сами попробуют!

Помолчав, Бунин добавил:

— Я думаю, что скорей интонация у каждого человека своя. Один укажет «идет дождь» так-то, другой скажет «идет дождь» иначе. Но в книге-то будут те же слова «идет дождь», и только по общему характеру человека, если романисту удалось его хорошо изобразить, мы эту интонацию мысленно восстанавливаем.

О поэзии, в особенности о новых поэтах, Бунин говорил неохотно, по-видимому, чувствуя холодок, прочно установившийся вокруг тех стихов, которые писал он сам. Реванш его над былыми соперниками-прозаиками не распространился на поэзию, и если, скажем, Бальмонт, когда-то гремевший, давно утратил обаяние, то иначе обстояло дело с Блоком. Бунин знал, что, сколько бы ни возникало о Блоке споров, верховное его положение в русской поэзии нашего века поколебать трудно. И это его раздражало. Он не любил Блока и, на мой взгляд, часто бывал прав, критикуя блоковский стиль, расплывчатость блоковских образов. Но если в ответ в упрек ему кто-нибудь читал две строчки Блока из тех, которые проникнуты вещей, почти таинственной

музыкой, он нервно пожимал плечами, а однажды, помню, сказал:

— Неужели вы думаете, что я не понимаю, *что* в этой мистической цыганщине сводит всех вас с ума? Но меня вы с ума не сведете.

Эти его слова оказались у меня записаны, и привожу я их точно. Если не ошибаюсь, тогда же я рассказал ему о Листе, который в ответ на скептические замечания о Вагнере не говорил большей частью ничего, а садился за рояль и наигрывал несколько тактов из «Тристана». Бунину рассказ понравился, он неожиданно повеселел и с добродушной усмешкой заметил: «Отлично, вот и я на все ваши ехидства отвечать больше не стану, а буду наизусть читать полстранички из “Жизни Арсеньева”, чтобы вы знали, с кем имеете дело». Постоянная его черта — обезоруживающий юмор, непосредственный, талантливый, как вся его натура.

Допустимо ли было бы сказать, что Бунин отвергал Блока отчасти из ревности? Невозможного в таком предположении нет ничего: ревность, случалось, мучила самых великих писателей и художников, хотя в этом они не признались бы или не отдавали себе в этом отчета. Несомненно, блоковская поэзия была Бунину действительно не по душе. Но славу Блока он воспринимал как нечто для себя обидное, почти оскорбительное. Он не считал себя прозаиком, который тоже пишет и стихи, как, например, Тургенев, нет, он придавал своим стихам очень большое значение и с горечью должен был сознавать, что как поэт остался в тени. Откровенного разговора о том, в какой именно области поэзия его беднее блоковской, т. е. о том, что стихи его пусть стилистически и безупречны, но лишены блоковского завораживающего звучания, — такого разговора даже начать с ним было бы нельзя. Если бы какой-нибудь развязный смельчак подобный разговор затеял, ни к чему, кроме гневных выкриков, он не привел бы и, пожалуй, лишь укрепил бы Бунина в его отрицании.

Иннокентия Анненского он знал очень мало, как, впрочем, проглядели Анненского почти все его сверстники. Зинаида Гиппиус как-то взяла у меня «Кипарисовый ларец» — «любопытно мне взглянуть, чем это вы так восхищаетесь» — и через несколько дней вернула мне книгу с замечаниями на полях настолько пренебрежительными и близорукими, что экземпляр этот следовало бы ради ее памяти уничтожить. Уверен, что труда вчитать-ся в стихи Анненского она себе не дала. Нет, Гиппиус, конечно, заранее решила, что если в свое время она не обратила на эти стихи внимания, то, значит, внимания они и не заслуживают. Бу-

нин рассказывал о единственной своей встрече с Анненским в Крыму:

— Сидел на террасе, с пледом на ногах, читал что-то французское... Кажется, кроме «здравствуйте» и «до свидания» мы ничего друг другу и не сказали... Вы что, действительно думаете, что это был замечательный поэт, или так, больше оригинальности?

Помню при этом пристальный бунинский взгляд, тот, который я не раз замечал у него, когда он предполагал или хотя бы только допускал в собеседнике притворство.

К Федору Сологубу у него тоже ни малейшего интереса не было, но, по-видимому, интерес мог бы возникнуть. Утверждаю это на основании короткого разговора незадолго до смерти Бунина.

Сологубом владело в старости нечто вроде навязчивого воспоминания: пение Патти. Он слышал ее еще в восьмидесятых годах и не в силах был забыть этот голос, по всем дошедшим до нас свидетельствам, действительно единственный, несравненный. О том, что Сологуб неизменно сводил к Патти любой разговор, рассказал в своих воспоминаниях о Блоке — или не ручаюсь, может быть, в каких-нибудь других своих записках — Андрей Белый. Мне лично пришлось однажды убедиться в том же. Было это в редакции горьковской «Всемирной литературы». Сологуб стоял окруженный несколькими сотрудниками-поэтами и, будто весь уйдя в далекое прошлое, тихо повторял: «Да, Патти, Патти... никто никогда так не пел, никто петь так больше не будет». Однажды я рассказал об этом Бунину, не предполагая, что рассказ произведет на него впечатление. Но Иван Алексеевич сразу умолк, задумался и после довольно долгого молчания сказал:

— А вот... я ведь считал Сологуба истуканом!

Не знаю, ошибся ли я, но мне тогда показалось, что сологубовская верность воспоминанию о чудесном, женском голосе обернулась в его сознании чем-то схожим с верностью лермонтовской «души молодой» воспоминанию о пении ангела. «По небу полуночи...» Случай этот меня поразил как свидетельство своеобразия и сложности бунинского отношения к поэзии — отношения, сблизившего его, сквозь отвергаемые стилистические приемы, с тем, что он считал неприемлемым: вопреки его вражде к Блоку, полному равнодушию к Ахматовой, язвительным насмешкам над Пастернаком и многому другому. Подобные же «вопреки», только в тысячу раз усиленные, бесконечно более противоречивые, следовало бы повторить, если бы пришлось писать об отношении Льва Толстого к поэзии. Кое в чем толстовское пред-

ставление о поэзии Бунин принял и усвоил. Но это — большая тема, и мимоходом лучше ее не касаться.

Кстати, Бунин как-то сказал, что те страницы в «Анне Карениной», где Бронский ночью, на занесенной снегом станции, неожиданно подходит к Анне и в первый раз говорит о своей любви, — «самые поэтические во всей русской литературе».

— А ведь находятся люди, которые сравнивают это со всякими там Сонечками, Грушеньками и Настасьями Филипповнами!

Ради исторической точности должен, впрочем, сделать исправление: Бунин сказал не «люди», а «болваны».

Не помню точно, где застала Бунина война — в Париже или в Грассе. Большую часть военных лет он, во всяком случае, провел в Грассе, «в приморских Альпах», как любил вместе с датой указывать в конце написанных им на юге Франции повестей и рассказов. Я провел эти годы в Ницце, довольно часто с ним встречался, особенно в первое время.

Встречи постепенно сделались труднее из-за отсутствия бензина. Автобусы ходили редко и тридцать-тридцать пять километров, отделяющих Ниццу от Грасса, казались огромным расстоянием.

С этим связан эпизод, врезавшийся мне в память.

Иван Алексеевич приехал в Ниццу около полудня и хотел вернуться домой с трехчасовым автобусом. Я пошел проводить его до станции. Но по пути, увидев перед какой-то лавкой очередь и узнав, что получена ветчина — по тем голодным временам редкость, — он задержался и на автобус опоздал. Следующий отходил только в шесть часов вечера. Бунин был до крайности раздосадован, но делать было нечего. Мы пошли в соседнее кафе, на улице Феликса Фора, он потребовал коньяку и стал пить рюмку за рюмкой. Сначала разговор был обычный: последние известия по лондонскому радио, которое втайне, тщательно затворив окна, слушали все, расспросы об общих знакомых, многие из которых уехали в Америку, другие же разбрелись кто куда. Мало-помалу Бунин сделался по-хмельному возбужден и принялся говорить о себе, о своих семейных и домашних делах, о близких ему людях. В первый и единственный раз я слышал от него нечто вроде «исповеди горячего сердца», невозможной, немыслимой, если бы он не находился в состоянии, когда ему нужен был слушатель. Непривычная его откровенность меня сначала смутила — коньяка я не пил, а пил черный кофе, — но потом, почувствовав с его стороны дружеское доверие, сам стал кое о чем его расспрашивать, припоминая то, что иногда замечал или о чем догадывался. Передавать содержание беседы, даже в самых общих чертах, я не

считаю себя вправе и надеюсь, никто из биографов Бунина не упрекнет меня в излишней щепетильности. Ничего порочащего для кого-либо из людей бунинского окружения в словах его не было, не в этом дело. Но не рано ли было бы делиться всем тем, чем поделился он, не совсем владея собой, отчасти даже против воли? Не следует ли подождать, скажем, несколько десятилетий, прежде чем предаваться подобным изысканиям и комментариям? Да и тогда, даже и тогда, окажутся ли эти изыскания и комментарии оправданны? Во всяком случае, я убежден, что сам Бунин возмутился бы вмешательством в его личную жизнь, когда бы допущено оно ни было — теперь или через полвека. Единственное, что я хотел бы засвидетельствовать, относится к его жене, Вере Николаевне: о ней Бунин говорил в тот день со страстной преданностью и благодарностью, будто особенно ясно сознавая, что человек он нелегкий и что нелегка должна быть и совместная жизнь с ним. Это, впрочем, было для меня очевидно и без его слов. Двум величайшим русским писателям — Пушкину и Толстому — судьба дала жен не совсем таких, какие были бы им нужны, хотя о больной, несчастной Софье Андреевне это позволительно было бы сказать, имея в виду лишь последние годы ее жизни с мужем. Глядя на Веру Николаевну, я не раз думал, что она вытерпела бы все прихоти Толстого, подчинилась бы всем его требованиям, и вспоминал некрасовские строки: «Делай, что хочешь со мной! Сердце мое, исходящее кровью, всевыносящей любовью, полно, друг мой».

Война, военные неудачи, положение в России, огромные русские потери — все это чрезвычайно волновало Бунина, особенно в первые год-два, когда, казалось, Гитлер может выйти победителем. О настроениях его в это время, да и о более поздних, по окончании войны, сложились легенды. Русская эмиграция не была в военные годы вполне единодушна, что и способствовало возникновению всякого рода рассказней. По другим причинам и другим побуждениям не обошлось без легенд и в Советской России.

История, однако, требует истины, а не выдумок или произвольных догадок. Должен без колебания, во имя истины, сказать, что за все мои встречи с Буниным в последние пятнадцать лет его жизни я не слышал от него ни одного слова, которое могло бы навести на мысль, что его политические взгляды изменились. Нет, взгляды эти, всегда бывшие скорей эмоциональными, чем рассудочными, внушенные скорей чувствами, воспоминаниями и впечатлениями, чем твердым, продуманным предпочтением одного социального строя другому, — взгляды эти, настроения

эти оставались неизменны. Война потрясла и испугала Бунина: испугала за участь России на десятилетия и даже столетия вперед, и этот глубинный страх заслонил в его сознании все то, что в советском строе по-прежнему оставалось для него неприемлемо. Он ждал и надеялся, что война, всколыхнувшая весь народ, придаст советскому строю некоторые новые черты, новые свойства, и был горестно озадачен, когда понял, что этого не произошло. Пишу я эти строки с одним только желанием: сказать о Бунине правду, ту, которую я видел и знал, не добавляя ничего от себя, не позволяя себе оценки, положительной или отрицательной. Ничьи возражения, никакие домыслы не убедят меня, что правда могла иногда оказаться и другой.

За ходом военных действий Бунин следил лихорадочно и сетовал на союзников, медливших с открытием второго европейского фронта. Гитлеровцев он ненавидел и стал ненавидеть еще яростнее, когда вслед за сравнительно беспечными, даже добродушными итальянцами южная часть Франции была оккупирована именно ими. Каждый день тут же, в двух шагах, мы убеждались в их дисциплинированной бесчеловечности, каждый день давал нам возможность предвидеть то, во что они обратили бы мир в случае своего торжества.

Бунин не в состоянии был себя сдерживать. Однажды я завтракал с ним в русском ресторане на бульваре Тамбетта, недалеко от моря. Зал был переполнен, публика была в большинстве русская. Бунин по своей привычке говорил очень громко и почти исключительно о войне. Некоторые из присутствовавших явно прислушивались к его словам, может быть, и узнали его. Желая перевести беседу на другие темы, я спросил его о здоровье, коснулся перемены погоды — что-то в этом роде. Бунин, будто бравируя, во всеуслышание воскликнул — не сказал, а именно воскликнул: — Здоровье? Не могу жить, когда эти два холуя собираются править миром!

Два холуя, т. е. Гитлер и Муссолини. Это было до крайности рискованно. По счастью, бунинская смелость последствий для него не имела. Но могло бы быть и иначе, т. к. доносчиков, платных или добровольных, так сказать, «энтузиастов», даже не требовавших за свои услуги вознаграждения, развелось в Ницце достаточно и некоторые были известны даже по именам.

Когда мы вышли, я упрекнул Бунина в бессмысленной неосторожности. Он ответил: «Это вы — тихоня, а я не могу молчать». И, лукаво улынувшись, будто сам над собой насмехаясь, добавил: — Как Лев Николаевич!

К концу войны, после освобождения Франции, Бунин вернулся в Париж еще полный сил и даже замыслов. Русский Париж в первые послевоенные дни находился в большом возбуждении. Было много споров, немало раздоров, а, пожалуй, еще больше иллюзий и надежд. Казалось, в жизни эмиграции наступает перелом, причем во Франции эти настроения распространились гораздо шире и быстрее, чем в Америке. Из Москвы, например, приехал Илья Эренбург, выразивший желание встретиться с молодыми эмигрантскими поэтами, что прежде было бы невозможно (пишу «молодыми поэтами» по давней, до сих пор удержавшейся привычке: Зинаида Гиппиус, однако, не без основания называла их еще в тридцатых годах «подстарками»). Вместе с Эренбургом приехал и Симонов, два или три раза встретившийся с Буниным.

Об этих встречах Симонов не так давно рассказал в московской печати. В его воспоминаниях, по-моему, не все точно, впрочем, лишь в мелочах. Обед, о котором он пишет и на котором присутствовал и я, был не у Бунина, а у Бориса Пантелеймонова, состоятельного человека, довольно популярного в то время писателя, которому покровительствовала Тэффи. Мне представляется, что именно у Пантелеймонова Бунин с Симоновым и познакомился, потому что я хорошо помню, как он с изысканной, слегка манерной, чуть ли не вызывающе старорежимной вежливостью обратился к нему, едва мы сели за стол:

— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше отчество... Как позволите величать вас по батюшке?

Если была встреча и до этого, как пишет Симонов, то очевидно совсем короткая, ограничившаяся рукопожатием.

В начале обеда атмосфера была напряженная. Бунин как будто «закусил удила», что с ним бывало нередко, порой без всяких причин. Он притворился простачком, несмышленышем и стал задавать Симонову малоуместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, отрывисто, по-военному: «Не могу знать».

— Константин Михайлович, скажите, пожалуйста... вот был такой писатель; Бабель... кое-что я его читал, человек бесспорно талантливый... отчего о нем давно ничего не слышно? Где он теперь?

— Не могу знать.

— А еще другой писатель, Пильняк... ну, этот мне совсем не нравился, но ведь имя тоже известное, а теперь его нигде не видно... Что с ним? Может быть, болен?

— Не могу знать.

— Или Мейерхольд... Гремел, гремел, даже, кажется, «Гамлета» перевернул наизнанку... а теперь о нем никто и не вспоминает... Отчего?

— Не могу знать.

Длилось это несколько минут. Бунин перебирал одно за другим имена людей, трагическая судьба которых была всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Пантелеймонов растерянно молчал. Тэффи, с недоумением глядя на Бунина, хмурилась. Но женщина эта была умная и быстро исправила положение: рассказала что-то уморительно-смешное. Бунин расхохотался, подобрел, поцеловал её ручку, к тому же на столе появилось множество всяких закусок, хозяйка принесла водку — шведскую, польскую, русскую, у Тэффи через полчаса оказалась в руках гитара, и обед кончился в полнейшем благодушии.

Знаю со слов Бунина, что через несколько дней он встретился с Симоновым в кафе и провел с ним с глазу на глаз часа два или даже больше. Беседа произвела на Ивана Алексеевича отличное впечатление: он особенно оценил в советском госте его редкий такт. Говорили они, вероятно, не только о литературе, должны были коснуться и политики. Думаю поэтому, что Симонов мог бы подтвердить правильность того, что я сказал о бунинских политических настроениях во время войны и после ее окончания.

В последние годы жизни Бунин был тяжело болен — или, вернее, мучительно слаб. Свела его в могилу, по моим наблюдениям и догадкам, не какая-нибудь одна определенная болезнь, а скорей общее истощение организма. Больше всего он жаловался на то, что задыхается: писал об этом в письмах, говорил при встречах.

Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде, хотя с первого взгляда было ясно и с каждым днем становилось яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, никогда не будет. Помню последний год или полтора: войдешь в комнату, Иван Алексеевич лежит в постели мертвенно-бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша, пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым голосом не назовет имя гостя.

— Ян, к тебе такой то... Ты что, спишь?

Бунин слабо поднимал руку, сился улыбнуться:

— А, это вы... садитесь, пожалуйста. Спасибо, что не забываете.

Было бы с моей стороны нелепо утверждать, что он радовался именно моим посещениям. Но, по-видимому, — и об этом мне не

раз говорила Вера Николаевна — я принадлежал к числу тех людей, разговор с которыми отвлекал его от тяжелых предсмертных мыслей. Боялся ли он смерти? Если до некоторой степени и боялся — в чем я не уверен, — то страх этот был в его сознании заслонен другим чувством: острой тоской, глубокой скорбью об исчезновении жизни. К жизни он был страстно привязан, не мог примириться с мыслью, что ей настал конец. Никогда я с ним об этом, конечно, не говорил, наоборот, убеждал его, что он поправится, что у него сегодня, например, вид гораздо лучше, свежее, чем в прошлый раз, — как это всегда делается, как это надо делать, потому что больным нужен обман. «Как делишки?», — хочет у Толстого спросить врач, входя к умирающему Ивану Ильичу, и, только видя его состояние, понимает, что пристойнее на этот раз обойтись без «делишек». Бунин, конечно, знал, что умирает. О смерти он думал, кажется, больше всего физически: представлял себе — и даже иногда изображал, — как будет лежать в гробу, каков будет в своем «смертном безобразии» (его подлинные слова). А если и размышлял о возможном или невозможном «после», то едва ли настойчиво. В этом «после», даже если оно будет и каково бы оно ни было, во всяком случае не будет того, что он всем своим существом, сердцем, плотью, умом любил: не будет неба, ветра, солнца, не будет повседневных мелочей существования, утрата которых казалась ему величайшим из несчастий. Был ли он религиозен? Если действительно «стиль — это человек», то, вчитываясь в бунинские писания, в склад и тон их, ответить приходится скорей отрицательно. Он уважал православную церковь как установление, сроднившееся в течение веков с дорогой ему Россией, он ценил красоту церковных обрядов. Но не более того. Истинная, требовательная, вечно встревоженная религиозность была ему чужда, хотя, признаюсь, это с моей стороны только догадка. Бунин, при всей своей внешней, открытой порывистости, был человеком с душевными тайниками, куда никому не было доступа. Вера Николаевна рассказала мне, например, что за всю совместную с ней жизнь он никогда, ни единым словом не упомянул о своей рано умершей матери, которую горячо любил. «Как то, забывшись, что-то хотел сказать о ней и сразу осекся, побледнел и умолк».

Мои с ним беседы, у его постели, были главным образом литературными. Бунин был до мозга костей литератором и мало-помалу оживлялся, когда представлялся случай о литературе поговорить. Принимался бранить Достоевского или, кашляя, с трудом переводя дыхание, делился впечатлением от чего-нибудь недавно прочитанного (точнее, выслушанного в чтении Веры Никола-

евны). Постоянно говорил о Чехове, которым в то время усиленно занимался для будущей, оказавшейся уже посмертной книги: с восхищением о чеховских повестях и рассказах, с раздражением и даже недоумением о пьесах, лиризм которых находил нестерпимо слащавым. «И ты улыбнешься, мама!», — издевательски повторял он, подражая манерности плохих актрис. «Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах...» По его убеждению, в том, что Чехов, наделенный от природы острейшим слухом к фальши, ввел этот дешевый лиризм в свои пьесы, повинна его жена, Книппер, и сделано это было будто бы в уступку ей и ее театральному окружению.

Из советских писателей он высоко ценил дарование Алексея Толстого, но относился к нему крайне отрицательно как к человеку, что, впрочем, широко известно. Года за два до смерти прочел одну из повестей Паустовского — не помню точно какую, — пришел в восторг и решил написать об этом автору. Ответа, однако, не получил и сомневался, дошло ли до Паустовского письмо, посланное на адрес Союза писателей. Помню еще его отзыв, в высшей степени одобрительный, о «Василии Теркине» Твардовского.

Наконец, два литературных воспоминания, относящихся к самым последним месяцам жизни Ивана Алексеевича.

Первое — об «Анне Карениной». Повторяю, он однажды назвал главу о встрече Анны с Вронским ночью, на станции, при возвращении в Петербург после московского бала, «самой поэтической во всей русской литературе». Было это сказано в связи с тем, что во время разговора я спросил его, помнит ли он эту главу. Бунин в тот день был особенно слаб. Глаз не открывал, головы с подушки не поднимал, говорил хрипло, отрывисто, с долгими передышками. Тут он, однако, тяжело приподнялся, оперся на локоть и хмуро, почти сердито взглянул, на меня:

— Помню ли я? Да что вы в самом деле? За кого вы меня принимаете? Кто же может это забыть? Я умирать буду и то на смертном одре повторю вам всю главу чуть ли не слово в слово... А вы спрашиваете, помню ли я!

Недавно Валентин Катаев в «Траве забвения» рассказал, что когда-то — было это в двадцатых годах — Бунину хотелось «исправить» толстовский роман, подчистить, выбросить то, что казалось ему лишним. Хорошо, что он этого не сделал. Вероятно, в конце концов ему стало ясно, что затея легла бы пятном на его памяти. Бунин, несомненно, блестяще справился бы со своей задачей: кое-что укоротил бы, другое изменил. Получился бы превосходный сжатый любовный роман. Но «Анна Каренина» —

ведь это не столько роман, хотя бы и превосходный, а живой мир, с неустрашимыми шероховатостями, с необъяснимыми случайностями, как во всем, что нас окружает. Именно в этом ведь чудо толстовского творчества. Да и не почувствовал ли Бунин, не должен ли был смутно сознаться, что даже ему, взыскательному, безупречному мастеру, такую главу, как только что упомянутая, или, например, те несравненные тридцать страниц, которые предшествуют самоубийству Анны, незабываемой, заключительной «свече», — даже и ему никогда все-таки не написать и что раз это так, то не стоит выбрасывать или изменять что-то кажущееся «лишним»?

Второе воспоминание — о Лермонтове.

Осенью 1953 года я должен был уехать в Англию и пришел к Ивану Алексеевичу проститься, не зная, что вижу его в последний раз. Не могу теперь с точностью установить, с чего начался разговор, вероятно, с чего-нибудь, касающегося поэзии.

Бунин, сделав усилие, неожиданно громко, твердо, внятно сказал:

— Всю жизнь я думал, что первый русский поэт — Пушкин. А теперь знаю, что первый наш поэт — Лермонтов. И с каким-то почти чувственным наслаждением произнес последнюю строку из «Дубового листка», действительно чудесную в звуковом отношении:

И корни мои омывает холодное море.

Позднее я рассказал об этом в печати, подчеркнув, что Бунин сказал именно «знаю», а не «считаю» или «нахожу». Многие были удивлены. Казалось маловероятным, чтобы такой «традиционалист», как Бунин, мог в конце жизни отказаться от суждения, бывшего для него всегда бесспорным. Меня даже заподозрили в выдумке, внушенной особым пристрастием к Лермонтову. Поэтому я с удовлетворением прочел то же самое в статье Алданова, помещенной после смерти Бунина в «Новом журнале». Очевидно, Бунин говорил об этом и ему.

Добавлю, что «переоценка ценностей», допущенная тогда Иваном Алексеевичем, могла бы и не быть окончательной, вопреки твердому, настойчивому «знаю». Под воздействием лермонтовских стихов он высказал мнение, которое было бы иным, т. е. осталось бы прежним, вспомни он накануне не Лермонтова, а Пушкина. Кто в самом деле разрешит вечный, со школьной скамьи до гроба, русский спор о первенстве того или другого из этих двух поэтов? Да и применима ли вообще табель о рангах к литературе и искусству?

На похоронах Ивана Алексеевича я не присутствовал. Смерть его болезненно отозвалась не только в сознании его друзей. Было общее согласное чувство, что с этой утратой что-то оборвалось, хотя никто не ждал от Бунина новых книг, дальнейшего творчества. По возрасту он принадлежал скорее к нашему веку, но больше, чем кто-либо другой, напоминал своим присутствием о связи столетий и о роковой опасности исчезновения преемственности и пренебрежения ею. Он не торопился жить вровень с эпохой, не уступал жалкому желанию, столь часто встречающемуся даже у самых талантливых людей, быть в согласии с последней умственной модой, находить в этой моде особую ценность и привлекательность. С величавой простотой и величавым спокойствием он жил чуть-чуть в стороне от шумного, суетливого и самонадеянного века, недоверчиво на него поглядывая и все больше уходя в себя. Он был символом связи с прошлым не в каком-либо реставрационном, социально-политическом смысле, а с прошлым как с миром, где всему было свое место, где не возникало на каждом шагу безответное недоумение, где красота была красотой, добро добром, природа природой, искусство искусством... Я упрощаю, конечно. Никогда человек не жил в мире, где все окружающее было бы ему понятно, и Бунин не был исключением, Бунин ничем не мог этой непонятности, этой неизвестности предотвратить. Но, как с последним лучом солнца, от него еще исходил свет, ясный и щедрый, а с исчезновением его стало как будто темнее и холоднее.

Позволю себе поделиться личным впечатлением: я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его послушаться, именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Все встречавшиеся с Буниным знают, что он почти никогда не вел связных, сколько-нибудь отвлеченных бесед, что он почти всегда шутил, острил, притворно ворчал, избегал долгих споров. Но как бывают глупые пререкания на самые глубокомысленные темы, так бывает и вся светящаяся умом и скрытой содержательностью речь о пустяках. У Бунина ум светился в каждом его слове, и обаяние его этим усиливалось. А обаятелен он бывал, как никто, когда хотел, когда благоволил быть обаятельным. Но даже не это было важно. Важно было, что его словами о любой мелочи говорило то огромное, высокое, то лучшее, что у нас было: дух и голос русской литературы. И вместе с тревогой от сознания, что это уходит, было и удовлетворение от того, что это еще здесь, перед нами,

за столом, в халате, с книгой в руках, испещренной на полях сердитыми, пусть даже не всегда справедливыми замечаниями.

Анна Ахматова писала о «великом русском слове», которое должно быть в сохранности передано нашим внукам и правнукам. Это не только великое слово, это и особое слово, без которого мир был бы беднее, как-то более плоским, и нет никакого патриотического самообольщения в признании истины, которую признают и многие из самых проникательных иностранцев.

Бунин — один из редких наших старших современников, который об этой истине напомнил.

